

Сергей МЕЛЬНИК

А СВЕЧКА ВСЕ ЕЩЕ ГОРЕЛА...

Обыкновенные будни. Красного числа в календаре нет, а вечер выдался на редкость радостным. На душе светло, на лице — улыбка. Таким я прогуливался в тот вечер по густому парку, который полностью погрузился в тепло-сладкий аромат белой акации и сирени. Романтика и вечер. Чувственность и желание. Вот что занимало мои мысли и заставляло меня петлять в парке по узким и кривым аллеям, как по лабиринтам кносского дворца. То, чего мне не хватало для полного счастья, искали мои глаза, которые прыгали и бегали повсюду, лишь на мгновение останавливаясь на длинных ногах какой-нибудь худощавой нимфы, от вида фигуры которой я моментально вспыхивал и так же моментально потухал, как только всматривался в черты ее лица. Я не знаю, как долго длился бы мой долгий и безрезультатный поиск в тот вечер мимолетных соблазнов и легких обманов, пока я не решил передохнуть на скамейке...

Я присел. Но мои глаза все по-прежнему бегали из края в край длинной и широкой, как река, аллеи. Еще чуть-чуть, и от их бега у меня закружится голова, и я перестану понимать, кто я и где я нахожусь. Но вот из дальнего угла парка показалась красота, высокая и стройная, ровно и плавно направляющаяся в мою сторону. Она приблизилась. Последнее напряжение глаз. Она еще ближе. Глазам уже не нужно большого усилия, чтобы видеть отчетливо и хорошо. Ноги. Изящны. А выше еще пленительнее... До умопомрачения волнующе. Талия. Обтянута черной мини-юбкой. Плоский животик. Оголен. Из него выглядывает маленький пупочек. Над ним изящный узел, в который перевязаны два края белой блузки, скрывающей аппетитные персики, в меру большие и безмерно вожделенные. Шея. Длинная. На ней позолоченный кулончик, который, будто дождевая капля, скатывается в персиковую ложбинку... Лицо овалное. Красивое. Бутон ярко-сиреневых губ. Предвкушает сладость питья долгого поцелуя. Чуть вздернутый кверху носик. Подзадоривает все больше и больше нарастающее во мне желание. Глаза. Пока что еще непонятного для меня цвета. Но томление в них настолько велико, что гляди и — утонешь. И вот я уже потонул. Потому что ее глаза устремились к моим. Они неуклонны. Пронзительно до откровенности...

Она села рядом со мной. Придерживая левой рукой темную сумочку, правой поправила продолговатую черную заколку, придерживающую завязь каштановых волос сзади. Скрестила ноги, гладкие и белые, как кипяченое молоко. Своими глазами, серыми и большими, окинула меня сверху донизу. И снова пронзительно заглянула в глаза.

Чувственность и желание. Предвкушение и сладость. Нетерпение, в конце концов, подталкивали меня изнутри к разговору, который должен будет начаться сейчас с какой-нибудь банальной фразы, чтобы потом можно было ощутить полное счастье хотя бы на миг. Но ее пронизывающий взгляд с чуть заметной усмешкой на пухлых губах будто обездвижил мой язык, приведя меня в полное замешательство. Единственное, что мне удалось, это кашлянуть и сделать долгий вздох потом.

Тут ее красивый ротик растянулся, и из него показались сероватые зубки. Томительный взгляд в одно мгновение сделался циничным и даже вызывающим. Здесь я лишь начал гадовать, но она опередила меня в том, чтобы я сделал свое умозаключение, что...

— Ну что, красавчик, позабавился?

Она сказала, будто отрезала.

Для такой куклолки, как она, ее голос прозвучал несоотносимо грубо. Но я все еще находился в состоянии сладостного предвкушения, которое лишь потом улетило окончательно, когда она добавила так же грубовато:

— Делаю сос за десять уе. Сладость и предвкушение. Желание и чувственность. Романтика и вечер. Все вдруг резко обломилось. Пропало. Остался лишь приторный запах сирени и акации, который, как и прежде, вскруживал голову.

Стоило ли мне ей объяснять, что любовь за деньги для меня все равно, что окуроч, поднятый с земли? Что я пусть и не великий романтик, но все же хочу хотя бы на маленькую толику взаимного и искреннего чувства, если не любви, так влюбленности, мимолетной и бесшабашной, хочу ласки, настоящей и естественной, потому теплой и нежной, как ласка матери или бабушки в детстве? Что любая потаскушка для меня заслуживает большего уважения, хотя бы потому, что она отдает себя лишь по велению своего похотливого желания, и твоё желание с ее — совпадает?.. Стоило ли мне объяснять то, что еще я привик думать о себе настолько хорошо, что мысль об оплате за удовольствие, которое и я доставляю, вызывала во мне лишь злость и досаду, прикрываемые чувством оскорбленного достоинства, чтобы уж совсем не ощущать себя полным идиотом. Конечно же, нет, потому что циничный взгляд ее бездонных и ничего теперь не выражающих глаз выказывал безразличие и брезгливость к каким-либо моим объяснениям и признаниям, которые и мне были противны, как и мною испытываемые чувства к ней сейчас.

Я уже собрался вставать.

— Ну, ты чего? Я умею не только сос...

Приподнявшись, я хотел уже было ответить ей с остротой, что в услугах пылесоса и урны не нуждаюсь, да и вообще, меня воротит от помойки, так что беспочвенно излишне. Но не успел открыть рот, как она бросила:

— Дурак... Я думала, что ты мужик. А ты просто...

Что она говорила дальше, я не разобрал. Так резко изменившаяся интонация в ее голосе, который, оставаясь грубоватым, почему-то стал детским со звучанием обиды, заставила меня обернуться. Все тот же наглый взгляд. Почти ничего для меня не значащий. Пустой. Безразличие есть, но уже не чванливое. Безразличие к тому, что о ней думаю сейчас я, что думаю проходящие мимо нас люди. Я должен был бы рассердиться, за то что она назвала меня дураком и невесте еще кем, за то, что, как и любая привокзальная проститутка, вызвала у меня неуважение к ней. Я должен был бы прийти в ярость из-за того, что она тут тычет и пристает мне. Но я не рассердился. И в бешенство не пришел. Не на что было и не на кого сердиться. Одна лишь интонация изменила восприятие. Точнее, даже не восприятие. Эта интонация навевала воспоминание, далекое и горькое, от которого пошло щемящее тепло...

— Если баксов нет, то и деревяшки пойдут.

Я был в полном замешательстве.

— Могу уступить, — тут в ее бездонные глаза вернулись прежние томность и усмешка, легкая и обаятельная, совсем как у Джоконды.

— Таких миленьких, как ты, нечасто встретишь. Иногда и самой хочется удовольствия...

Голос. Голос грубоват. И в то же время детский, дерзкий и вкрадчивый. Интонация знакомая, но до сей поры позабытая и вот только сейчас ожившая вновь в памяти.

— Я и без денег бы смогла, да только не сегодня...

А глаза горят. Носик подзадоривает. И все тот же бутон ярко-сиреневых губ соблазнителен, как и соблазнительны персики, животик, пупок и ноги. Приторно сладкий запах сирени и акации пьянит. Вечер. Май. Весна. Романтика. Я вновь устремляю свой взгляд к ее серым глазам:

— Сколько?

— Не меньше пятидесяти, — и снова в уже менее грубом голосе звучит наивность, детская и искренняя.

Овал лица. Ресницы в катюшках. Огромные глаза. Томление. Пухлые губки. Соблазн, пусть не мучительный и не душераздирающий, но предвкушающий и сладкий...

Черт с этими деньгами! Два аппетитных персика все еще вызывают непомерное вожделение. Желание. Кулончик. Капелька. Вот так и мне скатиться бы в ту дивную долину между ними. Ноги. Губы. Овал лица...

Мы вышли из парка и пошли по бульвару, до необыкновенной таинственности тихому и до необычайной сказочности залитому сильнейшей темной майского вечера. Я был снисходителен к ней до того, что позволил взять себя под руку. В первый раз в жизни я пренебрег принципами и чувствовал себя при этом легко и непринужденно. Я слышал, как внутри меня звучала фортепианная импровизация, восторг и радость от которой не позволили мне все же полностью вырваться за пределы собственной вычурности и воспоминания, навеянного детской интонацией в голосе сегодняшней моей пассии на ночь, одного лишь воспоминания, далекого, как длинный путь, и терпкого, как старое вино...

Как только стон сладострастия исторгся из моей груди, она поднялась с колен и, полностью обнаженная, вышла в ванную, а я все еще продолжал пребывать в полускрытых глазами в состоянии блаженства и самодовольства, сидя в своем любимом кресле. Я не думал о деньгах, заплаченных за удовольствие, которое только что получил, потому что они его... а точнее, оно их не стоило. Я ни о чем не думал, а если и думал, то лишь о том, насколько мне сейчас хорошо, совершенно нагому и расслабленному, который для полного счастья, пусть на миг, но получил то, чего хотел в течение не только сегодняшнего вечера, хотел и в течение нескольких лет, хотел очень давно... Мне было настолько хорошо, что я решил оставить сегодняшнюю ворожею, так ловко, легко и непринужденно применившую на мне свою магию любви, у себя дома, не боясь подцепить от нее какую-нибудь гадость или быть обворованным ею. Когда она вернулась, мокрая и соблазнительная, как Венера, но не Праксителя и не Боттичелли, а та взрававшая Венера, которую можно только видеть, но нельзя описать, я протянул к ней руки, и она села мне на колени, нежно обвив рукой мою шею.

— Я хочу, чтобы ты со мной осталась до конца этой ночи.

— С удовольствием, — сказала она и чуть слышно чмокнула меня в ушко.

— А еще я хочу называть тебя по имени, но так, как никто из людей, с которыми ты...

Она тут рассмеялась, а потом вдруг стала грустной, потупив свои большие красивые глазки.

— Назови меня, как хочешь, мне без разницы...

Она замолчала, а затем заглянула мне в глаза, в которых я увидел девочку-подростка, забытую и смирившуюся со страшными обстоятельствами жизни, которая начинает ее бить, я увидел девочку, воспоминания о которой я долго хранил глубоко-глубоко в памяти, потому что с ними не легко бы-

ло жить среди людей и считать себя таким же, как они, человеком.

— У меня уже давно нет имени, — сказала она почти шепотом. — Меня зовут Люся, Маша, Даша — кому как удобно. У меня нет имени, потому что меня уже нет. Но если тебе хочется, зови...

Она снова замолчала и прижалась ко мне настолько крепко, насколько могла.

— Ты и впрямь хороший... Только я этого уже не стою, чтобы ты меня по имени, по моему имени, такому же, как и у тебя, хорошему, звал меня сейчас...

— Перестань, слышишь, — я ее тоже крепко обнял и почувствовал необыкновенную близость, которой вдруг испугался.

— Женя, — еле слышно выдавила она из себя. — Вот как меня звали раньше. А сейчас... А сейчас давай ложиться спать...

Не знаю, отчего именно я проснулся посреди глубокой ночи, но только вот Женя не спала. Она мечтательно смотрела на мамин любимый розовый ночник и молчала. Я обхватил ее за шею.

— Ну, что с тобой? — спросил я ее, а сам в это время попытался собрать ее волосы, необыкновенные, душистые. Они так красиво рассыпались, как огромная охапка цветов в моих нерасторопных руках, что мне хотелось вновь и вновь проделывать с ними всю ту же самую игру — собирать и рассыпать — лишь бы снова увидеть забавный их перелив.

Она совсем как ребенок, кротко и застенчиво, все еще продолжая смотреть на ночник, тихо сказала с глубоким вздохом, прошлепавшим как дуновение осеннего ветерка в пустынном парке с опавшей листвой:

— Ты все равно не поймешь...

Я не стал ее спрашивать, что именно не пойму, не потому что мне было безразлично, а потому что посчитал излишним. Я довольствовался тем, что собирал и собирал ее волосы, упрямые и непослушные. Но то, что они не слушались меня, мне все больше и больше в них нравилось, как нравилась детскость в Жене.

Мы долго так сидели и ни о чем не говорили.

Потом Женя будто бы очнулась. Она встала и взяла из своей сумочки сигареты. Предложила мне. Я отказался. Закурила сама. Ее глаза уже оживились. Она стала более внимательно осматривать комнату, прохаживаясь по ней, скромно и чинно. А я следил за ней, следил, как она бегала глазами по стенам и потолку, будто в музее рассматривая висящие на них картины, рисунки, мои самоделки отроческой поры, причудливую лепку и люстры. Я и передать не могу, с каким удовольствием упивался я, как мне казалось тогда, детской игривостью и непосредственностью в этих серых огромных глазах. И тут неожиданно вырвалось внутри меня: моя сестренка. Да, сестренка. Ее детские глаза, детские повадки ходили на сестрины.

И тут то, чего опасался и не хотел признавать, случилось. Воспоминания, как льдинка, поплыли по реке памяти стремительно и быстро. Мое сердце защемило в груди. Вот, казалось, сидит рядом со мною чужой человек, да к тому же падший. Но к нему испытываешь теплые и нежные чувства, как к самому родному и близкому, потому что очень дорогому. И если сердце сразу поняло, почему, то разум лишь сейчас начал принимать все это, чему раньше пытался препятствовать.

— А это что такое? — Женя толкнула меня за руку, и я взглянул туда, куда смотрела она. Там висела засушенная голова шуки, пойманной мною когда-то в деревне.

— Чудо-юдо рыба-кит, — я надул щеки и выпучил глаза, чтобы развеселить ее окончательно. Женя

засмеялась искренне, и оттого, что искренне, я засмеялся с нею тоже.

— А это, наверное, твоя девчонка? — она взяла со стола небольшую фотографию в золотой рамке и показала мне, как дитя, которое нашло что-то такое интересное на прогулке и теперь показывает взрослому.

— Младшая сестра, — сказал я. Боже! Внезапно меня накрыло волной тревоги и переживаний. Вдруг стало тяжело дышать. Беспочкой полностью овладело мной. Я не смог совладать с собой, и она это заметила.

Женя с виноватым видом поставила фотографию на место. Снова села возле меня и тихо спросила:

— Она замужем?

— Нет, — с неимоверным усилием выдохнул я, все по-прежнему силясь побороть волнение внутри себя.

— Если не здесь, то где она в таком случае живет? — все с той же непосредственностью и наивностью задала мне мучительный вопрос, сама не зная об этом.

Что есть сил я набрал воздуха и начал понемногу выпускать:

— Нигде... Более десяти лет, как ее уже нет в живых... Отравилась из-за одного подонка... который сначала ей вскружил голову, а потом бросил... А затем наглоталась таблеток и ум...

Я оборвал себя на полуслове. Потому что не мог заглушить стук сердца внутри себя. Потому что не мог продолжать дальше рассказ о том, как она забеременела, как с каждым днем менялась на глазах, приобретая замученный нездоровый вид, из-за того что скрывала от нас, от меня и матери, свою беду. Она терзалась. Как мне было бы тяжело повествовать дальше... О том, как тайна стала явью... Когда уже было заметно. Она решила рассказать, надеясь, что ее поймет мать и осуждать не будет, а я стану ее защитником. Но мать, вместо того чтобы поддержать ее, закатила скандал, а я, представив то, как парни из моего двора начнут говорить мне про сестру, какая она шалава, что нагуляла себе малое, набросился на нее...

Но это было еще не все. Ведь сердце дико стучало в груди еще потому, что самое главное, о чем я ей не стал рассказывать, потому что вряд ли бы отозвался на это. Повествовать долгую историю своего тайного греха, а точнее, грешных помыслов... Грешных помыслов, которые, как тяжелый камень, висели на мне и тянули в непростветную темень мрака собственных желаний, которых я боялся и к которым устремлялся тайно ото всех. Я любил свою сестренку. Но не так, как обычно любят братья сестер и сестры братьев. Я ее любил и вожделел. Свою страсть я скрывал, прикрывая "отцовской" заботой и чрезмерным братским вниманием. Я многого хотел, но немного позволял себе с нею, когда оказывался наедине. Все, что было в рамках дозволенного, так это прижать ее к себе, играя с ее волосами, и иногда поцеловать ее в губы, конечно же, слегка, когда она укладывалась спать, придя поздним вечером уставшей и сонной с какого-нибудь школьного огонька, окончания которого я ждал с нетерпением и мукой в холле школы, в которую я ее провозжал и из которой встречал почти всегда. А то остальное, что оказывалось за пределами дозволенного, становилось огромной частью моих фантазий, осуществить которые я не мог, отчего жизнь моя порою превращалась в невыносимую действительность, где поневоле мне приходилось пребывать, действительность, которую я мог покинать только на несколько мгновений, когда предавался сладким грезам, пробуждение от которых было горьким.

(Окончание в следующем номере.)